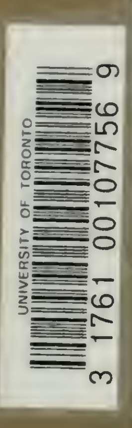
Abramov, Fedor Aleksandrovich
Vokrug da okolo



[illegible] = 1 – 24

Ф. АБРАМОВ

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

FLEGON PRESS



Published by
FLEGON PRESS
24, Chancery Lane, London W.C.2

Е. Евтушенко . . . . Яблоко
А. Солженицын . . . . Один день
Ивана Денисовича
А. Солженицын . . . . Два рассказа



Федор АБРАМОВ

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

Памяти брата Михаила, рядового колхозника.

Рис. А. Якобсон.

Первый звонок:

— Ананий Егорович? Привет, привет. Ну чем порадуешь? Активность, говоришь, большая? Все на пожни выехали? Хорошо, хорошо. А как с силосом? Разворачиваешься? Давай, давай.

Второй звонок:

— Силоса в сводке не вижу. Твой колхоз весь район назад тянет. Что? Погода сухая — на сено нажимаешь? Нажимай, нажимай. Но имей в виду: за недооценку сочных кормов райком по головке не погладит. Уж кому-кому, а тебе-то эту политграмоту надо бы знать.

Да, районную политграмоту он знает (слава богу, тридцать лет без мала тянул лямку районщика!): силос по сводке не должен отставать от сена. Но, черт побери, положено или нет хоть изредка и колхозникам шевелить мозгами? А колхозники на общем собрании решили: с силосом пообождать. Силос и в сырую погоду взять можно, а сено не возьмешь.

Третий звонок:

— Товарищ Мысовский? (Обращение, не предвещающее ничего доброго.) Как прикажешь расценивать твое упрямство? Саботаж? Или головотяпское непонимание основной хозяйственной задачи?

— Да в конце-то концов, — не выдержал Ананий Егорович, — кто в колхозе хозяин? Партия предоставила свободу колхозам, а вы опять палки в колеса...

И вот решение:

«1. За политическую недооценку силоса как основы кормовой базы колхозного животноводства председателю колхоза «Новая жизнь» коммунисту т. Мысовскому А. Е. объявить строгий выговор.

2. Обязать т. Мысовского в пятидневный срок ликвидировать нетерпимое отставание колхоза «Новая жизнь» с заготовкой сочных кормов».

I

«Хлип-чав, хлип-чав, хлип-чав...»

Это под ногами, а сверху все льет и льет. И так две недели подряд.

У Анания Егоровича болели зубы, и он шел, подняв воротник плаща и держась рукой за правую щеку. Клавдия Нехорошкова, бригадир зареченской бригады, шагала впереди. Длинный, забрызганный грязью дождевик колом стоял на ней.

У озерины они остановились.

— Значит, так, — сказал Ананий Егорович, повторяя то, что говорил ей с полчаса назад в конторе, — переправишь за реку трактор, и силос вози трактором.

— Понятно, — сказала Клавдия низким, простуженным голосом.

Она вытерла ладонью красное белобровое лицо, шумно, как лошадь, отряхнулась и пошла направо, в обход озерины, туда, где дорога сворачивала на перевоз.

Ананий Егорович стал искать брод.

И вот он стоит на лугу. Стоит как на пытке. Глухо шуршит, стекая по плащу, дождь, мокнет затекшая рука, прижатая к щеке, а кругом, куда ни глянешь, — *сенная погибель.* Сорок пять гектаров сена гниет на лугах под деревней да еще восемьдесят — по дальним речкам.

Он перевернул сапогом сенной пласт — тяжелый бражный дух, прель навоза, — посмотрел на небо. Ни единого просвета не было в низких, набухших водой облаках. Да, еще дня два — и прощай сено. Полный разор колхозу...

Нет, он не оправдывал себя. Это он, он отдал распоряжение снять людей с сенокоса, когда еще стояла сухая погода. А надо было стоять на своем. Надо было ехать в город, в межрайонное управление, драться за правду — не один же райком стоит над тобой! Но, с другой стороны, и колхозники хороши. Они-то о чем думают? Раз с сеном завалились, казалось бы, ясно: жми вовсю на силос — погода тут ни при чем. Так нет, уперлись как тупые бараны — хоть на веревке тащи. Вот и сегодня на поле, с которого возили горох (он давно, еще с горы, заметил это), мокнут одни доярки.

— Ананий Егорович! Ананий Егорович! — разноголосо закричали доярки, заметив его.

Он помахал им рукой, прибавил шагу. На сердце у него немного потеплело. Вот уж с кем с кем если он и находит общий язык, так это с доярками. Семь молоденьких девчонок, недавно поднявшихся со школьной скамьи, а на них по существу держится весь колхоз. Каждая копейка в колхозе выдаивается их руками.

Доярки — пожалуй, самая большая трудность, с которой он столкнулся, став председателем. Пожилые колхозницы, которые вынесли на себе все тяготы послевоенного лихолетья, сошли на нет: у одной руки разворочены ревматизмом, у другой — грыжа, у третьей — еще что-нибудь. Да и как с полуграмотными бабами, которые умеют только по старинке валить сено скотине, осуществить крутой подъем хозяйства? Вот и пришлось уламывать старшеклассниц — неделями, месяцами. Если сама девушка согласна, мать на дыбы. Как? Моя дочь да с навозом валандаться? Для этого мы с мужиком ее учили, жилы из себя тянули?

Но и после того как девушки начали работать, сколько же горя пришлось хлебнуть с ними! Подоить коров, убрать навоз, съездить на луг за подкормкой — это они пожалуйста. А вот, скажем, корову вести к быку... Валя Постникова, беленькая, голубоглазая девчонка, второй год работает на скотном дворе, и сколько ни говори, ни доказывай, что яловая корова — бич для колхоза, — бесполезно. Ананий Егорович возмущался: чему у нас учат в школе? Для кого готовят этих кисейных барышень? Но в то же время где-то в душе он понимал и сочувствовал этой робкой стыдливости.



Девушки окружили его со всех сторон, едва он ступил на поле, — мокрые, улыбающиеся, одетые на редкость пестро: кто в цветастой непромокаемой накидке, кто в ватнике, кто в лыжных ярких штанах, а Нюра Яковлева — та даже в одной вязаной кофточке. У Нюры была высокая, красивая грудь, и, надо полагать, это обстоятельство имело немаловажное значение в выборе одежды.

Хотя девчата встретили его улыбками, но заговорили возмущенно:

— Где люди?

— Неужели только дояркам силос надо?

— Мы не железные за всех отдуваться!

Ананий Егорович отшучивался — самое поганое дело это играть бодрячка, когда надо кричать караул! — а потом, услыхав тарахтение на лугу, переключил внимание девушек на машину.

Васька Уледев, высунув горбоносую разбойничью рожу из кабины, задним ходом въехал на поле.

— Все в порядке, — отрапортовал он, выскакивая из машины. — Чугаев у ямы с тремя бабами.

— А Якова почему нет?

— Яшка сидит в ручье. Тормоза отказали.

Уледев говорил в сторону. Дегтярные шальные глаза его на выкате подозрительно блестели.

— Ты что, с утра прикладывался?

Васька нахмурился, сдвинул с затылка красный, перепачканный солидолом берет, но врать он не умел:

— Только наркомовскую. Сотнягу по-теперешнему.

— Вот что, Уледев. Если еще замечу, уволю. Последний раз предупреждаю.

— Ну, Ананий Егорович, на войне сто грамм разрешалось, а тут... И на погоду скидка нужна. Ежели я из строя выйду...

Ананий Егорович не стал слушать. Девушки уже навьючивали машину. Он взял свободные вилы-тройчатку, принялся помогать им. Горох был тяжелый, лопушистый. С поднятой охапки потоками стекала вода, попадала за воротник. Время от времени он подбадривал девушек:

— Так, так, девчата! Хорошо!..

— Давай, давай, девахи! Веселей! — покрикивал, вторя ему, Васька. — Женихи из деревни смотрят.

Кто-то накрыл его сзади мокрой охапкой гороха. Васька закричал благим матом, забегал по полю. Но это была шутка, и все кончилось смехом.

Машину навьючили быстро, а потом, упираясь руками в борта кузова, помогали ей выбраться на луг: колеса буксовали, вязли до осей.

Якова, второго шофера, все еще не было. Застрял, видно, основательно. И колхозники не спешили на поле. Высокий кустистый угор, на котором горбилась деревня, то тут, то там курился белыми дымками. Пускай гибнет сено, пускай пропадает горох, а мы баню топим. Среди бела дня.

Девушки в ожидании машины сбились на твердой обочине поля. Нюра Яковлева, зябко поводя плечиком, начала стряхивать со своей красивой кофточки налипшую зелень.

— Иди, Нюрка, ко мне под плащ. Замерзнешь, — сказала Эльза, бригадир доярок.

— Вот еще! Сама-то ты замерзла.

Молодец девка! Нечего хныкать. Да, удивительно, как растет молодое. Давно ли еще мать этой самой Нюры жалостливо выговаривала ему: «Какая же она скотница? Разве таскать ей ведра с водой? Посмотри, у ней ведь и грудей-то еще нету». А сейчас дивчина хоть куда. Крепкая, белозубая, на тугих смуглых щеках ямочки. Только вот надолго ли задержится она в колхозе? Таких быстро прибирают к рукам. Хорошо, если выйдет замуж за своего, деревенского. А если кто подхватит со стороны? Тогда снова придется искать доярку.

Девушки запели какую-то новую, не знакомую Ананию Егоровичу песню. Про летчика Ваню и про Марусю-изменщицу. Но песня не разгорелась. Дождь погасил ее.

Еще нагрузили две машины.

Ананий Егорович в тяжком раздумье смотрел на деревню. Сейчас уже по всему косогору тянулся дым. Вот народ! Попробуй с таким колхоз поднять. А бригадиры? Куда к чертям провалились бригадиры?

Из заречья порывами налетал ветер. Мокрая ядовито-голубая накидка, которой прикрылись сверху доярки, с шумом хлопала над их головами.

— Что, девчата? Не замерзли?

Глупейший вопрос! Зачем же спрашивать, когда он сам продрог до костей?

В конце концов он махнул рукой: по домам. Можно было, конечно, еще машины две нагрузить до обеда, но две машины дела не решают, а доярок можно простудить.

И вот — опять он один на один со своей бедой. Мокнет в валках горох на поле, гниет сено на лугах...

Подумав, он пошел к реке. В зареченской бригаде, которой правила Клавдия Нехорошкова, он не был дней десять, и если лодка на этой стороне, то сейчас самое время заглянуть туда.

Лодка была на той стороне.

От лодки к крайнему домику на отшибе проторена тропа. Это тропа Клавдии, или Клавкина тропка, как называют ее в колхозе. Тропа торная, пробитая в желтой насыпи песков, прямая, как сама Клавдия.

Девятнадцать лет топчет Клавдия свою тропу. Глянешь рано утром на Заречье — солнышко только-только продирает глаза, а на песчаной косе уже маячит женщина. Высокая, величественная, как та баба-великанша, о которой говорится в сказке, и белый плат словно парус. А если непогодь, ветер-зверюга, прижимающий все живое к земле, тогда Клавдия похожа на медведицу, выгнанную из логова.

И зимой она не заставляет себя ждать. Что бы ни было на дворе — трескучий мороз, метель беспросветная, из-за которой зареченцы по неделям не вылезают в деревню, а Клавдия на лыжи — и опять мнет свою тропу. Иной раз ввалится в правление — глыба снега, места живого нет, и только голос простуженный вдруг бухнет как со дна колодца: «Какой наряд, председатель?»

И все-таки Клавдию, наверно, раз десять снимали с бригадиров, да она и сейчас официально значилась «врио». За плохую работу? За нераспорядительность? Как раз наоборот: зареченская бригада всегда первая по показателям, а о самой Клавдии и говорить нечего — она и с людьми ладит, и любую мужскую работу делает не хуже мужика, а при крайней нужде даже на трактор сядет. Нет, не за работу снимали Клавдию, а за эту самую тропу, по которой она шагала не только в колхозную контору, а и еще кое-куда. Первая работница по колхозу, и она же первая распутница... Вот и зачешешь в затылке, когда подойдет время подводить итоги за год. Надо красное знамя вручать, а кому? Женщине, на которую до десятка заявлений лежит в председательском столе. Пробовали по-всякому: стыдили, уговаривали, назначали бригадиром вместо нее мужика. Но какой мужик выдержит долго? И вот снова, скрепя сердце, призывали Клавдию: побригадирь, Нехорошкова, — временно, конечно.

Ананий Егорович не минуту и не две стоял на крутом берегу. На реке качались волны, косой дождь сек его — и хоть бы один человек показался на той стороне. Где люди? В полях, за домами? Но почему не слышно трактора? Сегодня суббота, будний день — сам бог велит работать. А что будет завтра, в воскресенье?

Нет, надо принимать меры. Срочные, решительные. Середина августа — чего же еще ждать? И вот что он первым делом сделает. Поднимется в гору и начнет прочесывать верхний конец деревни. Войдет в каждый дом, до каждого колхозника доберется. Почему не на силосе? До каких пор, черт побери, будешь волынить?

II

ПОМОЧЬ БЫ НАДО, А ЧЕМ ПОМОЧЬ?

Первая постройка — избушка с односкатной крышей (ее никак не минуешь, когда поднимаешься с подгорья в деревню) — принадлежала Авдотье Моисеевне. Ветхая избушка. Околенки кривые, заплаканные, возле избушки

полоска белого житца[1] с вороньим пугалом — ни дать ни взять живая иллюстрация из дореволюционного журнала.

Первый раз Ананий Егорович столкнулся с Авдотьей Моисеевной на улице. Идет он как-то утром по деревне и вдруг под окном видит старушонку — маленькую, подслеповатую, с батожком, с берестяной коробкой на руке. Открылось окно, высунулась рука с куском хлеба. Старушонка перекрестилась, положила милостыню в коробку и поковыляла дальше.

Ананий Егорович был поражен. Как? В наше время и нищая? Да кто же она такая?

Оказалось — бывшая колхозница. Одинока. Без родни. Был сын, да «пропал за слова».

По настоянию Анания Егоровича правление назначило Моисеевне пенсию: десять килограммов зерна в месяц и четыре воза дров на зиму. Первую пенсию за все существование колхоза.

Моисеевна в такую непогодь, конечно, была дома. Она сидела на низеньком крылечке под сарайчиком, с которого густо капало, и глухо постукивала деревянным молотком.

Заслышав шаги прохожего (тропинка бежала вдоль изгороди, которой была обнесена ее усадьба), она подняла к нему бельмастые глаза. Робкая улыбка ожидания и надежды застыла на ее приоткрытом беззубом рту.

Ананий Егорович, потупясь, прошел мимо.

«Тук, тук», — выговаривал снова молоток. В сыром воздухе душисто пахло подсушенным на печи зерном. Моисеевна обивала на колодке первый сноп нового житца.

И во второй, соседний двор не зашел Ананий Егорович. В заулке на изгороди мокнет полосатый матрац, у крыльца в стене топорщатся колючие ветки вереса, а сам хозяин уже три дня как на кладбище. Умер от чахотки, задушенный августовской сыростью.

Долго болел Никанор Тихонович. А смотришь, все топчется вокруг дома. То тюкает что-нибудь в сарае — выручал колхоз санями, — то опять с хомутами возится. А в последние недели ходить уже не мог. Но, видать, скучно целый день маяться в избяной духоте. И вот выползет к изгороди, расстелет домотканый половичок и лежит на солнышке, смотрит на деревенскую дорогу.

— Как здоровье, Никанор Тихонович?

— А ничего, поел сегодня. Ноги вот только бы мне.

— Давай, давай. Рано еще в землю смотреть.

— Да я что. Я ничего.

Великий был оптимист!

От Никанора Тихоновича осталось четверо ребят. Хозяйке одной их не поднять. Да разве и не заслужил он своей многолетней работой в колхозе, чтобы мы позаботились о его семье? Нужна пенсия. Пенсия нужна и еще кое-кому. Вот он скоро будет проходить мимо дома Михея Лукича. Боль зубная! Старик за девятый десяток перебрался. Самый старый человек в деревне. А живет как зверь. Зимой из малицы не вылезает, спит в печи.

Но, с другой стороны, что можно выкроить из колхозного бюджета? В прошлом году на трудодень выдали по тридцать копеек, а в этом году уже пятый месяц не авансировали колхозников. Нет денег! Вот разве что через месяц появятся, когда скот в госзакуп сдадут. А сейчас ремень затянут до отказа. Каждый рубль идет на строительство двух скотных дворов. Их надо во что бы то ни стало закончить до снега — иначе зимовка скота будет сорвана.

И когда впереди показался в белых наличниках небольшой аккуратный домик бригадира по строительству, Ананий Егорович решил заодно заглянуть и к нему. Если Вороницын дома — а была обеденная пора — надо потолковать. В чем дело? Строители оплачиваются хорошо — один рубль деньгами и трудодень на день, а скотные дворы все еще не закрыты. Что же касается самого Вороницына, то в последнее время он стал частенько выпивать.

[1] На севере житом называют ячмень.

III

ГЛАВНАЯ ОПОРА

После войны Ананий Егорович был тринадцатым по счету председателем в Богатке. Тринадцатым — число, проклятое самим народом.

И верно, правление его началось с конфликта, да не с одним, не с двумя колхозниками, а сразу со всем колхозом.

Была зима, мороз стоял зверский. Принимая колхозные дела, он обежал за день скотные дворы, конюшни, склады — тяжкое наследие оставлял ему старый председатель, — а к вечеру порысил в контору — там его ждало первое заседание правления. Но вместо заседания он попал на митинг. Народу в конторе — не подступиться к председательскому столу. В чем дело? Неужели еще не намитинговались вчера на общем собрании?

— Завтра выборы в местный Совет, — сказал бухгалтер.

— Ну и что?

— Ну и за деньгами пришли.

— За какими деньгами?

Оказывается, в колхозе издавна заведен обычай — накануне выборов выдавать аванс по десять — пятнадцать рублей на избирателя. Обычай сам по себе не плохой. Какой же праздник без денег? В клубе откроется буфет, из райцентра, возможно, подбросят колбасы, мясных консервов, баранок и еще каких-нибудь редкостей, которыми не очень-то избалована деревня, а ты стой — хлопай глазами.

Но одно дело — обычай, а другое дело — колхозные счета. И Ананий Егорович сказал:

— Не ждите. Денег не будет.

— Не дашь, значит? — Это сказал краснолицый кряжистый мужчина, сидевший у печки.

— Не дам, — отрезал Ананий Егорович.

— Ну, не дашь — и голосовать не будем.

— А ты что — за деньги голосуешь или за советскую власть?

Краснолицый мужчина вдруг обезоруживающе улыбнулся:

— Чудак человек. Да мы за тебя голосовать не будем. (Кандидатура Анания Егоровича была выставлена в местный Совет.)

Кругом захихикали, заулыбались.

— Ты это чьи речи говоришь, Вороницын? — круто поставил вопрос секретарь парторганизации Исаков.

Вороницын — так звали краснолицего мужчину — лениво отмахнулся:

— Не пужай. Пуганый.

— Он у немцев под расстрелом стоял, забыл? — крикнули от порога.

После того как наконец удалось выпроводить людей из конторы, Исаков схватился за голову:

— Ты понимаешь, что наделал, товарищ Мысовский? Выборы сорвал. Да, да! Раньше мы завсегда к восьми рапортовали, а вдруг завтра никто не придет?

Выборы прошли нормально. Но ох и попереживал же в ту ночь Ананий Егорович! Он даже денег раздобыл — взял под отчет у председателя сельпо. Черт с ними, если припрет, раздаст, обежит всю деревню.

А на другой день, в понедельник, в контору с утра заявился Вороницын и долго, усмехаясь, приглядывался к нему.

— А мы, пожалуй, поладим с тобой, председатель, — сказал он, как бы подводя итог их ссоре.

Слово Вороницына оказалось надежно, как его рука, тяжелая, короткопалая, которая с одинаковым умением играет и топором и кузнечным молотом. За первый год с бригадой плотников он поднял новый сруб скотного двора, а на второй год обложил еще один.

И вот этот-то самый нужный человек в колхозе, можно сказать — главная опора председателя, запил. Ананий Егорович и так и этак пытался подойти к нему: говори, чем недоволен? Молчит, слова не добьешься, а завершение скотных дворов — под угрозой срыва. Раз бригадир ульнул носом в бутылке, то что же с остальных спрашивать?

В маленькой кухне накурено. Белый дым густым слоем висит под низким потолком. На столе самовар, тарелка с ржаным хлебом и пестрыми ячменными сухарями, крынка с топленым молоком. Штук пять ребятишек — один меньше другого — чинно сидят справа в простенке между дверью, открытой в переднюю комнату, и окном с белой занавеской, из которого видна деревенская улица. Сидят и макают хлебом в песок, маленькими кучками насыпанный прямо на столе перед каждым.

Место хозяина — табуретка у окна слева — пустовало. Тонкий стакан с чаем недопит. На подносе, вокруг пожек самовара, куча окурков.

— Хозяина нет? — спросил Ананий Егорович.

От печи, из-за розовой занавески, выглянула Полина — жена Вороницына, высокая сухопарая женщина, в домашней стеганой безрукавке, с разогретым от печи лицом и злыми блестящими глазами.

— Был. Целый час тут сидел да охал.

— Заболел?

— Черт ему деется! Пьет-жорет котору уж неделю.

Ананий Егорович, как бы оправдываясь, спросил:

— А на какие деньги? Я ему не давал.

Полина фыркнула:

— На какие деньги! Они, пьяницы проклятые, давно по коммунизму живут. Вот те бог! Придут в лавку: «Манька, дай пол-литра на карандаш». А Манька — месяц к концу подойдет — и пошла собирать по деревне, из дома в дом. «С тебя, Полина, десять рублей пятьдесят копеек». — Тут Полина, вытянув худую длинную шею, показала, как Манька разговаривает с ней. — «За что? Когда я тебе задолжала?» — «Мужик твой вино на карандаш брал». — «Ну, брал, дак с него и получай. Не торгуй по коммунизму». — Полина метнула взгляд в сторону стола. — Видишь, у меня сколько хлебных токарей?

Ребятишки, внимательно наблюдавшие за матерью, которая всегда театрально, в лицах разговаривала с людьми, снова принялись макать хлебом песок.

— Проваливайте! — вдруг обрушилась и на них Полина. — Сколько еще будете сидеть? Весь день из дому не выходят. Надоели, дьяволята.

Дети нехотя вылезли из-за стола и, хмуро посматривая на Анания Егоровича, удалились в переднюю.

— Полина Архиповна, — Ананий Егорович прикрыл дверь в переднюю, — ну а ты-то знаешь, что с ним творится? С чего он запил?

Полина вздохнула:

— А леший его знает. После города всё. Раньше выпивал — не без того же, да хоть дело знал. А тут приехал из города — скажи, как подменили мужика. Чего вы-то, хозяева, смотрите?

— Ладно, — сказал Ананий Егорович. — Пойду обратно, приверну. Пусть никуда не уходит.

IV

НЕ ТЕ ВРЕМЕНА...

На дворе все так же — дождит, ветер треплет мокрое белье, развешенное на веревке...

Прикуривая от спички, Ананий Егорович повернулся к ветру спиной, и вдруг выпрямился. По задворкам, мимо усадьбы Вороницыных, топали три бабы. С коробьями. Согнувшись пополам.

— Стой! — закричал Ананий Егорович и тут же схватился за щеку: в рот попало холодного воздуха.

Бабы юркнули за угол бани.

Не разбирая дороги, мокрым картофельником он кинулся им наперерез, перемахнул изгородь.

— Трудимся? — Он задыхался от бега и ярости.

Бабы — ни слова. Мокрые, посинелые, будто распятые, они стояли, привалясь спиной к стене бани, и тупо глядели на него. Большие плетеные корзины, доверху наполненные красной и желтой сыроегой, громоздились у их ног.

— Трудимся, говорю? — повторил Ананий Егорович.

— Что, не мы одни.

— Кабы в колхозе копейкой побогаче, — плаксивым голосом заговорила Аграфена, — кто бы пошел в лес, Ананий Егорович?

— А копейка-то откуда возьмется? С неба упадет?

Женщины осмелели:

— Пятнадцатый год это слышим. Я все летичко на пожне выжила — сколько заробила?

— А у меня ребятам в школу скоро идти — ни обуть, ни одеть. Думаешь, сладко в лесу-то бродить? Зуб на зуб не попадает, нитки сухой на тебе нету. А бродишь. Короб грибов в сельпо сдашь — все какая ни на есть копейка в доме.

— А самим-то жрать надо? — вдруг грубо, нахраписто вломилась в разговор Олена Рогалева. — Я второй год без коровы маюсь. Нынче, думала, сена навалило — заведу коровушку. Черта с два заведешь!

И, считая, видимо, дальнейший разговор зряшным, Олена подхватила на руки коробья — только ручки взвизгнули — и пошагала, пригибаясь под ношей.

За ней, неуверенно переставляя ноги, потянулись ее товарки.

Ананий Егорович в нерешительности закусил нижнюю губу. Догнать, опрокинуть эти проклятые коробья, а самих баб за шиворот и прямо на поле? Да, лет восемь назад он бы наверно так и сделал. Образцы для подражания были и в жизни и в литературе. В одной из книг, например, рассказывалось, как председатель колхоза ловит строптивых колхозников за деревней, а другой председатель действует еще круче: врывается утром в избу и заливает печь водой. Книги эти в районе взяты были на вооружение. «Вот как надо работать, — наставлял председателей колхозов секретарь райкома, при всяком случае ссылаясь на литературные примеры. — А вы, растяпы, с бабами справиться не можете».

Да, лет восемь назад Ананий Егорович нагнал бы страха на этих грибниц. А сейчас...

Он взялся рукой за мокрый козырек кепки, резко надернул его на глаза и пошел — в обход вороницынской усадьбы — на переднюю улицу.

V

ВИРУСНЫЙ ГРИПП

Слева, через дорогу от Вороницыных, на горочках, — так называют полевину — пустырь вдоль косогора, — живет Петр Гаврилович Худяков.

Лет тридцать назад этого пустыря не было и в помине. Тут был околок — штук десять домов, плотно, почти впритык стоявших друг к другу. Теперь от околка осталось два дома: дом Петра Гавриловича да слева от него, метрах в двухстах, высокий громадина-пятистенок — без крыши, без окон, с черными стропилами, как старческие руки, воздетыми к небу.

Ананий Егорович, проходя мимо пустыря, часто задумывался над судьбой одичалого дома. Он помнит этот дом еще молодым. Стены из отборного сосняка, со звоном, как говорят, углы просмолены (навечно!) — вставляй только рамы да справляй новоселье. Но дом так и состарился, не дождавшись

новоселья. Кто его хозяева? Где они теперь? Живы ли еще? И что их обидело так, что они бросили новый дом да так ни разу и не проведали его?

Торчит старый дом на взгорье, день и ночь ждет своих хозяев. А хозяев все нет и нет...

Ананию Егоровичу не пришлось заходить на усадьбу. Петр Гаврилович — ему недавно перевалило за шестой десяток — сидел в крытом дровнике и что-то постукивал топором. Завидев председателя, он встал, подошел к калитке. Петр Гаврилович был в валенках с красными галошами, в ватных штанах, в фуфайке, в старой опрелой ушанке без завязок — в общем одет был тепло, по погоде. А во рту у него, обметанном редким желтым пушком, торчал неизменный окурок.

— Далеко правишь? — осведомился он и подал руку. Петр Гаврилович с начальством разговаривал свободно, на «ты», хотя и без оскорбительной фамильярности.

— Да вот насчет силоса хлопочу. Видишь, что делается?

— Надо, надо, — поощряющим тоном сказал Петр Гаврилович. — Влипли мы с этим силосом, товарищ Мысовский. — Он поднял голову кверху. — Подвел старик.

— Не говори.

— Ничего, парень. Погода-то, кабыть, на ясень поворачивает. Этим ветром уже разнесет сырость.

Ананий Егорович посмотрел вслед за Петром Гавриловичем на небо. Там и в самом деле кое-где прорвало серый облажник. И дождь как будто пошел на убыль.

— Разнесет, разнесет, — с еще большей определенностью подтвердил свой прогноз Петр Гаврилович.

— Как здоровье?

— Здоровье-то? — Петр Гаврилович вздохнул, пожевал губами. Лицо его вдруг стало страдальческим. — Худо, парень. Тут на погоду было всего скололо, а нонече опять грипп замучил.

— Температура есть?

— Кабы оно, температура-то, все бы полегче. Какой-то грипп-то ныне пошел проклятущий. С вирусом. Сидит в тебе, а наружу себя не показывает.

— Ладно, — сказал не сразу Ананий Егорович. — Поправляйся.

Можно было, конечно, показать этому Худякову, где у него выступил наружу вирусный грипп. Он, Ананий Егорович, заметил и подновленную изгородь на усадьбе со стороны улицы, и новый венец в крыльце — ничего этого не было с неделю назад, да и сидеть с топором в сарае в такую погоду — не лучший способ лечения гриппа. Но Худяков — старик. И живи он в городе, какие к нему претензии? А вот то, что под вирусный грипп здоровые мужики работают, это уже посерьезнее. Тут надо принимать меры.

«А какие меры? — думал Ананий Егорович, шагая обочиной раскисшей улицы. — Одной Фаине-фельдшерице порядка не навести — это ясно. Она и так и сяк крутит «больного» — по всем приметам здоров. А тот ей свое: «Ну, значит, вирусный грипп. Дай справку». И попробуй, докажи, что он симулирует».

— Да, — вздохнул Ананий Егорович. — Ох уж этот вирусный грипп! Что-то больно часто ломает он нынешнего мужика..

VI
ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

— Здорово те, Ананий Егорович.

— Чем уж так расстроен, на людей не глядишь?

Мысовский повернул голову на голоса.

По ту сторону улицы гуськом, одна за другой, вышагивало целое отделение старух. Все нарядные, празднично одетые — так, бывало, отправлялись в церковь.

Ананий Егорович пересек улицу:

— Куда это строем?

— Что ты, ведь день-то сегодня наш, — сказала, улыбаясь, высокая старуха, еще довольно крепкая, прямая, с гладкими румяными щеками. — Вспомни число-то.

— За пенсией, значит?

— За ей, за ей, — закивала в ответ маленькая старушонка в светлых резиновых сапогах.

— Спасибо нонешним властям, — сказала толстая низкорослая старуха и вдруг чинно поклонилась Ананию Егоровичу. — Кабы я была грамотна, в саму бы Москву написала. Не забыли нашу старость.

Ананий Егорович, провожая глазами ходко шагающих пенсионерок, невесело подумал: «Эх, старухи, старухи! К вашим бы пенсиям да немного сознательности. Ну не все из вас, но ведь некоторые вполне могли бы еще держать в руках грабли. Глядишь, и дела бы в колхозе пошли повеселее».

VII

„А РАСТЕТ ЛИ ЗЕМЛЯ?"

Поздеевы — отец и сын — трудились у нового дома. Старик Игнат в старом кожане, в теплом полинялом платке, по-бабьи повязанном под бородой — он давно маялся ушами, — что-то мастерил под навесом, а Кирька, широкоплечий мужчина, брусил топором бревно. Брусил умело, со сноровкой. Раз заруб, два заруб, потом скол с отворотом — и белобокая щепина, как плаха, отваливается от бревна.

Ананий Егорович решил не приворачивать к Поздеевым. Что с них взять? Кирька — инвалид, припадает на ногу: с детства костный туберкулез; сам Игнат в преклонных годах, а кроме того, надо отдать им должное: в страду не сидели дома, оба мытарили на дальнем сенокосе.

Однако миновать Поздеевых не удалось. Старик как назло поднял голову и закричал высоким петушиным голосом:

— Чего нос воротишь? Не воры.

Разогнулся Кирька, сказал, оголяя в улыбке белые крепкие зубы:

— Уважь старика, товарищ председатель.

Делать нечего — пришлось «уважить». Потому что с этими Поздеевыми шутки плохи: и отец и сын с начинкой — редкие мастера устраивать публичные балаганы. Скажем, идет в клубе лекция о международном положении. Ну, лекция как лекция. Кто слушает, кто дремлет, кто у выхода смолит самосад. И вдруг в первом ряду вскакивает старичонка в бабьем платке:

— А скажи, растет ли земля?

Лектор из района только руками разводит. Какое же отношение имеет этот вопрос к очередным проискам империалистов! Но затем, не желая обижать любознательного старика, начинает популярно разъяснять закон о сохранении вещества.

— Не растет, говоришь? — опять вскакивает Игнат. — А в наших на́винах[1] бывал? Раньше камня на поле не увидишь, а сичас плуг отскакивает. Откуда же камень взялся, раз земля не растет?

В зале шум, хохот, визг.

Но вот люди успокоились, лекция продолжается. Проходит еще какое-то время, и снова голос Игната:

— Не чую! Чего бубнит как дьячок.

На этот раз, отогнув платок от уха, он обращается к своему сыну, который всегда сидит при нем.

---

[1] На́вины, или новины, — поля, еще задолго до колхозов отвоеванные у леса. Во многих северных колхозах они составляют большую часть пахотного массива.

Кирька, с удовольствием исполняя обязанности переводчика (его так и зовут в деревне — переводчик), изрекает:

— Про урожай говорит.

— Про урожай? А, про урожай!.. — горячится Игнат. — Тогда ответь, — снова наскакивает он на лектора, — что выгоднее сеять: березу или жито?

Переводчик, как бы желая помочь лектору, кричит на ухо старику:

— Вопрос не ясен.

— Не ясен? — Тут уж Игнат доподлинно выходит из себя. — Мать твою так... не ясен! Сходи в те же навины. Раньше мы с полей хлеб возили, а теперь дрова.

Кирьку вызывали в сельсовет: «Уйми старика. За такие речи раньше, знаешь бы, что было?»

— Правильно, товарищи... Это вы верно подметили, — соглашался Кирька. — Старика зашибает. Ну только я перечить отцу не могу. Не так воспитан. Это вы тоже поимейте в виду, товарищи.

О доме Поздеевых много говорят в деревне. И не только говорят, а каждый пеший и конный останавливается возле него. Дом строили по-новому, на городской манер: кухня, спальня для Кирьки с женой, комната для стариков и детская — Кирька, по его словам, запланировал на семилетку семь сыновей и, надо сказать, с планом справляется (жена его постоянно ходит с брюхом).

И еще была одна диковинка в доме Поздеевых — мезонинчик, или чердак по-здешнему, да не просто какой-то там курятничек дощатый под крышей (такие теперь не редкость в новых домах), а настоящая комната с бревенчатыми стенами, с двумя окнами и балконом.

По поводу этого мезонинчика (Кирька отделал его в первую очередь и даже перильца балкона успел покрасить голубой краской) старик Игнат рвал и метал: шутка сказать, такой домину схлопать, а тут еще всякие хреновины выводить. Он и сейчас, едва вошел Ананий Егорович в заулок, закричал, указывая рукой на чердак:

— Вишь что выдумал! Мизинчик ему надо. А лес-то кто заготовлял? — Старик, вздернув бороденку, круто обернулся к сыну. — Ты?

Кирька, снисходительно улыбаясь, пожал слегка широченными плечищами, втюкнул топор в чурбан.

Сели под навесом на сухое бревно.

— Нарубил лесу? — как всегда неожиданный задал вопрос Игнат.

Ананий Егорович не понял, переспросил.

— Какого-какого... Деревянного! — вскипел старик. — Что, так и будешь шлендрать по чужим избам?

Понятно. Старик намекает на то, что пора, дескать, свое гнездо вить, ежели хочешь, чтобы с тобой как с председателем считались.

Однако Игнат, не ожидая ответа — все глухие на один манер, — уже снова закричал:

— А за щеку чего держишься? Зубы болят? Еще бы не болеть! Это ты с кем надумал людей с сенокоса снимать? А?

— Давай дак не ори, — сказал Кирька и туманно добавил: — Партия знает...

— Ты вот что, Поздеев, насчет партии оставь.

— Да ведь я что, товарищ председатель. — Кирька всегда называл Анания Егоровича официально. — Я в смысле Программы... На днях, слышно, семинар будет.

— Будет. Но я тебе советую — попридержи язык. Не вздумай балаган устраивать.

— Чего? — закричал Игнат.

— Дом, говорит, у тебя хороший, — не моргнув глазом, сказал Кирька.

— Так, так, — старик довольно закивал головой. — Хороший. Осенью новоселье справлять будем. Придешь?

Ананий Егорович кивнул головой и встал: приличие соблюдено, а точить лясы ему сейчас некогда.

VIII
ДЕРЕВНЯ СТРОИТСЯ

Как-то вечером, засидевшись допоздна в правлении, они с секретарем парткома Исаковым подсчитали: тридцать два новых дома в деревне. Тридцать два! И все эти дома построены за каких-нибудь последних восемь лет.

— Соображаешь, что это? — со значительностью в голосе сказал Исаков. — А загляни к нему в дом! Тут тебе и никелированная кровать, и швейная машина, и радио. И велосипеды кое у кого есть. — Исаков подумал, усмехнулся: — Я вот недавно в Заречье был. Знаешь там дом Прохорова? Большущий, двухэтажный домина в верхнем конце? В тридцатом году его еще раскулачили. Правда, потом восстановили. Зазря сгноили мужика на Соловках. Горбом своим все нажил. Ну а по тем временам Прохоров действительно был богач. Все завидовали ему. «Ну, что вы, — скажут, — разве с Прохоровым тягаться? У них и под рукомойником-то не лохапка, а медный таз». И вот тут на днях я заглянул к его сыну. Один живет. Братья на войне побиты. Ну, говорю, показывай, Андрей, свое кулацкое житье. Какое тебе наследие отец оставил? Смеется. «Смотри», — говорит. Ну, посмотрел. Таз медный под рукомойником — это верно — стоит. Ну а еще что? Шкафчик черный для посуды — тоже бывало насчет этого шкафчика говорили: «Вот как Прохоровы живут. Для посуды шкап под стеклом завели». Ну, посмотрел я этот шкафчик. Да теперь его бесплатно давай, никто не возьмет. Ну а еще что? — И Исаков заключил: — Значит, не так уж плохо живем. Есть сдвиги и у нас на севере.

Да, все это так. И он, Ананий Егорович, обратись к нему историк, мог бы порассказать на эту тему немало — на его глазах обновлялась деревня.

А все началось с райцентра, со служилого люда. Уйма скопилась всяких служащих после войны в райцентре. Бесконечные, чуть ли не в каждом доме «раи», по поводу которых так умильно писалось в одной книге, все маломальски грамотное выкачивали из деревни. И вот этот мелкий чиновный люд, томясь от безделья в послеслужебное время (шутка ли, здоровому мужику с шести часов вечера ничего не делать!), начал поигрывать топориком. Деревня пустеет, разламывается, а в райцентре как грибы растут новые дома. Вот как это было. И только потом уже, после пятьдесят третьего года, забелели новые крыши по деревням.

И все-таки, как ни крути, говорил себе Ананий Егорович, а от одного вопроса не уйдешь. На какие достатки строится деревня? За счет доходов, полученных в колхозе? В том-то и беда, что нет. Кто построился за эти годы? Те, у кого есть денежная подмога со стороны. У одних это пенсия, у других сын работает в лесной промышленности, а у третьих, опять, в семье служащий. Взять хотя бы тех же Поздеевых. Да разве Кирьке видать бы такой дом, не будь у него жена бухгалтером сельпо?

В деревне сейчас принято: если ты в колхозе работаешь, то жену подыскивай из служащих, так, чтобы в доме всегда была копейка. После войны, когда произошла денежная реформа, это получило даже свое название: «жениться на буханке». Одним словом, если хорошенько вдуматься, складывается особый тип семьи, где экономический фактор играет далеко не последнюю роль.

Среди новых домов нередко попадаются и такие, у которых заколочены окна. Все, казалось бы, готово — только отдери на окнах доски и живи. А не живут в этих домах.

Эти новые дома с заколоченными окошками в печенках сидят у каждого председателя колхоза. Хозяевами их, как правило, являются рабочие лесной промышленности — вчерашние колхозники, правдами и неправдами удравшие в свое время из колхоза. Ну, удрали — и удрали. Живите с богом — лесные поселки теперь благоустроены, ни в какое сравнение не идут с деревней. Так нет, подходит лето, смотришь, один расхаживает с топором

вокруг старого отцовского пепелища, другой по весне плавит сруб, третий...

Что это? Извечная приверженность человека к своей родине, к тому гнезду, где родился? Или мужик еще в нем не выветрился? Дали отпуск, а что с ним делать, с этим отпуском? Надо же как-то время убить? Но не проще ли тогда поставить свой дом там, где работаешь — в лесном поселке? Или ждут эти вчерашние колхозники перемен в деревне?

Худяков оказался синоптиком никудышным. Правда, дождь понемногу стихает, но когда же наконец выглянет солнце?

Еще к двум-трем домам привернул Ананий Егорович. В воротах приставка. Всего скорее, что и тут ушли в лес...

Стукнул топор неподалеку. Смолк — и снова застучал, теперь уже без остановки.

Обогнув старую избу, Ананий Егорович увидел привычную картину: в поле, за изгородью, новый сруб, а на углу сруба человек. Иван Яковлев — один из тех вчерашних колхозников, которые после войны пополнили армию рабочих местного леспромхоза.

— Размокнуть не боишься? — заговорил, подойдя к строению, Ананий Егорович.

— Ничего, не сахарный.

— Так, так. Значит, домой надумал?

— Хм, — сказал Иван. — Можно и домой.

— Давай. Мы хоть сегодня примем.

— Принять-то вы примете. Знаю. А как насчет этого? — Иван посучил сложенными в щепоть пальцами. — Я ведь худо-бедно сто — сто пятьдесят рублей в лесу выколачиваю.

— Ну, это от нас зависит. Вот колхоз подымем, и с рублем повеселее будет.

— Тогда подождем, товарищ Мысовский. Нам не к спеху.

Все тот же сказ. Прямо какой-то заколдованный круг! Чтобы сделать полновесным трудодень, надо, чтобы работали люди, — какой же другой источник у колхоза? А чтобы работали люди, надо, чтобы был полновесный трудодень.

Где выход?

В райкоме говорят: плохо руководишь. Ослабил агитационно-воспитательную работу. А как агитировать нынешнего колхозника? Без рубля до него агитация не доходит. Ты ему доказываешь: два трактора купили? Купили. На грузовики деньги надо? Надо. А новые скотные дворы? А радио провели? Подождите. Дойдет дело и до трудодня. А он не ждет. Не хочет больше ждать. Вот в чем дело.

IX

«ПЕРЕЖИТОК»

Сначала он подумал: подсолнух. Так и светится, так и играет среди зелени!

Но он ошибся. Светлое пятно в огороде перед избой — это вовсе не подсолнух, а повойник, вернее, парчовый кружок повойника. И вынарядилась в этот повойник не молодка (молодые сейчас вообще не носят повойников), а старушонка — маленькая, сухонькая. Нагнувшись над грядкой и легонько покачивая светлой головой, она истово щипала лук — по всему видать, для обеда, потому что была в одном синем старушечьем сарафане, босиком.

— Здорово, Тихоновна, — сказал Ананий Егорович, подходя к огороду.

Старуха живо разогнулась, хитровато прищурила один глаз:

— Признал. А я гляжу споднизу да думаю: возгордился — мимо пройдет али окликнет?

— Ну, тебя нетрудно признать. Вон ведь как сияешь!

— Молчи ты, бога ради. Не стыди. Сама знаю, что неладно. В этом повойнике-то я еще молодицей хаживала. Всё Маруське берегла. А раз Маруська не носит — не пропадать же добру. Кто осудит, а кто и поймет.

Агафью Тихоновну, или Оганю Палей (так звали ее в деревне за редкую бойкость), знал чуть ли не весь служилый люд района. Старуха приветливая, общительная — пока пьешь чай, она тебе обскажет все: и каков новый председатель, и как люди работают, и что, по ее мнению, не так делается в колхозе, и как надо бы делать, да обскажет все картинно, со смешком, с прибаутками. Теперь командированные останавливаются у нее от случая к случаю и то только летом, так как зимой старуха живет в городе у дочери.

— Пойдем в избу, — со свойственной ей гостеприимностью предложила Тихоновна, выходя из огородика с горсткой лука. — У меня самовар шумит.

А в самом деле, почему бы ему не перехватить чего-нибудь? Когда еще он доберется до своего дома? Да, может, от горячего и зубам полегче станет?

В низкой, заметно осевшей избе тепло, даже жарко. Пол намыт с дресвой, выпуклые сучья в старых широких половицах блестят как луковицы — Тихоновна всегда славилась опрятностью.

Ананий Егорович по-домашнему — все тут было знакомо — снял намокший плащ, разостлал на печном брусе — пусть и плащ погреется.

— Ноги-то сухие? Дать валенки?

Нет, это, пожалуй, лишне. Он ненадолго. Ему некогда засиживаться.

Тихоновна, шелестя босыми ногами, живехонько собрала на стол. Треска, баранки городские — это уж всегда, когда человек из города приезжает, — морошка моченая с сахарным песком, грузди с луком. И в довершение ко всему кипящий самовар.

— Ешь-пей, гостенек, — сказала Тихоновна и на старинный манер, хотя и не без игривости, поклонилась гостю в пояс.

Потом, просияв парчовым верхом повойника, села сбоку самовара сама на хозяйкино место.

— Надо бы тебя не чаем угощать-то. Дорогой гость! А светлого у бабушки нет. Была тут маленькая, да внук выманил. Позавчера вкатывается пьяный: «Бабка, давай вина, а то подожгу». — «Что ты, говорю, пьяная харя, не стыдно бабке-то так говорить?» А потом отдала — все от греха подальше.

За чаем Тихоновна разогрелась. На темном морщинистом лбу бисером выступил пот, а маленькое аккуратное ухо порозовело, как у молодицы.

«Сколько же ей? За восемьдесят? — подумал Ананий Егорович. — Крепкий орешек!» И глаз у Тихоновны голубой, с хитринкой, все еще острый, с твердым, не расплывшимся зрачком.

Разламывая баранку, он спросил:

— Ну как в городе? Понравилось?

— Не пон-дра-ви-лось. — Тихоновна, видимо, не без желания щегольнуть своими приобретениями в городе, произнесла это слово старательно, по складам.

— Что так?

— Молодежь не пондравилась, — опять нажимая на «д», ответила старуха.

— Молодежь?

— Молодежь, — утвердительно кивнула Тихоновна. Она отерла лицо сухой ладошкой. — Идем мы тут как-то с моей Маруськой по городу. О праздниках майских дело было. Народушку — как воды льет. Я глаза-ти расшиперила, про все забыла. Потом хвать: где у меня Маруська-то? Туда, сюда — нету Маруськи. Того, другого спрошу — смеются: заблудилась бабка. А тут в садочке, вижу, девочка стоит. Высоконько стоит. На приступочке. Сама из себя беленькая, головушку склонила, в галстучке и книжечку читает. «Ну-ко, — говорю, — девочка, посмотри. Не увидишь ли где мою Маруську?» Молчит девочка. Я опять про свое: «На приступочке стоишь, — говорю, — тебе все видно. Посмотри». А девочка опять молчит. Тут я не стерпела: «Бесстыдница, — говорю, — еще грамотная, книжечку читаешь.

Трудно тебе сказать — отвалится у тебя язык-от?» А тут у меня и Марья подоспела. Зубы оскалила: «Ты с кем это, бабка, разговариваешь?» — «Как с кем? С этой, — говорю, — срамницей». — «Что ты, бабка, глупая, ведь эта девушка неживая».

Ананий Егорович расхохотался. Как же он сразу-то не догадался, что Тихоновна морочит ему голову? Ведь она и раньше была мастерица на всякие выдумки.

А Тихоновна, дав ему просмеяться, закончила:

— «Не живая, — говорю? — Как же, — говорю, — не живая? Книжечку читает, в галстучке...» — «Это статуй», — говорит Маруська. «Статуй? А зачем, — говорю, — статуев-то выставили? Разве, — говорю, — живых людей в городе не хватает?»

— Так-так, — рассмеялся снова Ананий Егорович. — Не понравилось, говоришь, в городе? У нас лучше?

— И у нас не ндравится.

— Вот тебе на!

— Хозяева не ндравятся. Ты не ндравишься. — Тихоновна вдруг выпрямилась и строго поджала свой беззубый ввалившийся рот. — Да разве это дело? Сено сгноили. Самолучшее сено. Сегодня утрось иду с губами [1] из лесу. На-ко, вся деревня в дыму. Ой, тошнехонько, пожар, думаю. Нет, не пожар. Это наши лежебоки просыпаются, печи затопили. Суседка моя, молодица, на крыльцо вывалилась, поперек себя шире, чешет задницу толстую. — Тут Тихоновна живехонько вскочила с табуретки и показала, как это делает соседка.

Ананий Егорович, стараясь припомнить, кто же из молодых живет по соседству с Тихоновной, спросил:

— Чья же это молодица?

— Чья? Разве забыл? Дунька Афанасьевых. Тут рядом живет.

— Ну, эта молодуха из годов вышла.

— Из каких-таких годов? — не на шутку рассердилась Тихоновна. — Не крась, не крась, Онаний Егорович. Знаем. Из годов вышла? Сколько ей? Шестьдесят-то есть ли? Ну уж хоть шестьдесят два — не больше. Меня замуж выдавали, она еще в брюхе у матери жила. Да по-старому, дак это перва работница. Вот шо я тебе скажу. — Тихоновна с раздумьем шиpкнула носом. — Тут как-то иду, у правленья бабы сидят. Солнышко на полдник поворачивает, а за рекой-то журавель надрывается, истошным голосом кричит: «Что вы, суки бессовестные, вставайте. Страда. А жито-то в поле плачет, сено-то высохло...» А они, лупетки, расселись — колом не своротишь. Сидят, пыхтят — за версту слышно. Думаю, болесь какая — все только на болесь и жалуются. Нет, не болесь. Машину ждут. Три версты пройти надо. Срамницы! А как бывало-то мы без машины? У меня Олександрушко рос — на войне убит, сам — на Юрове страдает, за пятнадцать верст от дому. Дак я парня на руки, котомку с хлебами на спину да бегом бежу. Как настеганная бежу. А день-то отробишь, опять домой попадаешь. Парня комары раскусают — глаз не знатко. И в войну тоже совесть знали. Не загорали, — поновому выразилась Тихоновна. — Пройди-ко по новинам-то — еще теперь мозоли с полей не сошли. Колхозили — рубахи от пота не просыхали. А теперь все заросло. Лес вымахал — хоть полозья гни.

Тихоновна протерла глаза, высморкалась в подол.

— Нет, по понешным временам, — убежденно сказала она, — житья не жди. Больно болярынь много развелось. Вишь ведь — солнышку стыдно на землю смотреть. Отвернулось — две недели не показывается.

Помолчала, вздохнула:

— Я и свою дочерь не крашу. Насмотрелась в городе. «Машка, ты чего лежишь? Люди на работу прошли». Болесь — мы всю жизнь прожили, а такой не слыхали, — опертия.

---

[1] Губы — грибы на засол: сыроега, груздь, волнуха, рыжик.

— Гипертония, — поправил Ананий Егорович.

— Ну-ну, не выговорить. Не наша, видно, болесь-та, заграничная... Проходит время, опертия кончилась, а Марья у меня снова на лежку. «Чего опять, девка?» Дихрет. Плати осударсьво денежки — бесплатно не рожаем...

Ананий Егорович взглянул на часы. Шестой час. Тихоновна разговорится — не кончит.

— Ладно, пойду, — сказал он, вставая.

— Иди, иди. Я все в глаза высказала. Любо, не любо — слушай. Ну да с меня спрос не велик: пережиток.

Ананий Егорович вопросительно посмотрел на старуху.

— Пережиток, пережиток, — закивала она. — Так. Нас, старух, всю жизнь так звали. Чуть маленько вашему брату — начальству не угодишь — и давай пережитками корить. Да меня и дочь родная так величает: «Молчи ты, старой пережиток...»

На улице, пока он сидел в избе, посветлело. Дождь кончился. Может быть и прав Худяков — переломится погода?

От нагретого, разопревшего на печи плаща пошел пар.

— Не простудись, — наказывала Тихоновна. — Вишь ведь закурился — как после бани.

Заулок густо, будто озимью, зарос сочной травой. Узенькая тропка еле-еле обозначена на отаве, — видно, редко кто заходит к старухе.

Выходя на дорогу, Ананий Егорович еще раз обернулся. Тихоновна босиком стояла на крылечке и легонько, как подсолнухом, кивала ему головой в повойнике со светлым донышком.

Памятник поставить бы этим пережиткам!

X

СТАРЫЙ КОММУНИСТ

Дом служащего, или, как говорят в деревне, человека на деньгах, отличишь сразу. Он и понаряднее, этот дом: наличники у окошек и двери непременно покрашены, вместо жердяной изгороди оградка из рейки или плетень из сосновых или еловых колышков. И, конечно, радиоантенна над крышей (радио провели в колхозе только в прошлом году).

У дома Серафима Ивановича Яковлева, председателя местной лесхимартели, была еще одна примета — обшитые тесом передние углы, солидно окрашенные в темно-зеленый цвет.

Серафим Иванович был дома. Он выбежал на крыльцо в белой нательной рубахе с расстегнутым воротом, в галошах на босу ногу:

— Зайди-ка на минутку. Дельце есть.

— И у меня к тебе дельце, — сказал Ананий Егорович.

В светлых сенях, заставленных вдоль стен ушатами и кадушками, три двери: прямо — на кухню, слева — в хлев, к корове, а справа, обитая черным дерматином, как в солидном, по меньшей мере районного масштаба учреждении, — в одну из передних комнат.

Серафим Иванович открыл именно эту, обитую дерматином дверь. Комната — это сразу видно — была предназначена для особо важных гостей. Высокая никелированная кровать с горкой белых подушек под кисейной накидкой и лакированным ковриком на стене — дебелая красавица в обнимку с лебедем, — тюлевые занавески во все окно, фикусы, разросшиеся до потолка, в красном углу этажерка с несколькими книжками из партийной литературы.

В комнату бесшумно вошла хозяйка, худая, болезненная, с кротким печальным ликом богородицы, поставила на стол бутылку с водкой и тарелку с огурцами и так же бесшумно вышла.

Сам Серафим Иванович, несмотря на то что ему было уже далеко за пятьдесят (он был года на четыре старше Анания Егоровича), выглядел еще молодцом. Лицо гладкое, розовое, чисто выбрито. В рыжих ершистых волосах, не просохших еще после бани, ни единой сединки. А в зубах, плотных, косо поставленных, как у лошади, тоже сила. Видно, не зря говорят, что он еще бегает по молодым.

— Ты это зря, Яковлев, — сказал Ананий Егорович, кивая на бутылку.— Я не за этим.

— Кто же говорит, что за этим. А раз привелось, стопочка не повредит. А может, в баню желаешь? Банька у меня сладкая. И воды и жару — сколько хочешь.

Ананий Егорович, сославшись на занятость, приступил к делу:

— Я вот к тебе зачем. Ты, говорят, в отпуск идешь?

— Иду. С завтрашнего дня. Ну-ка давай, держи. — Серафим Иванович, по-компанейски подмигнув рыжим глазом, придвинул ему стопочку.

Зубы у Анания Егоровича все еще побаливали. И стопочка ему сейчас ох как бы не помешала. Но он сказал себе: нет. Не время. Люди на него и так косо посматривают (председатель во всем виноват), а тут еще учуют — духами пахнет: «А, скажут, хорош гусь. Нас наставляешь, а сам с утра под парами».

— Дак не будешь? — удивился Серафим Иванович.

— Не буду.

— Ну как хошь, а я выпью. — И Серафим Иванович, заметно мрачнея, опрокинул в рот стопку.

— Завтра как планируешь день? Мы с силосом горим. Воскресник решили объявить.

Серафим Иванович выпил еще стопку.

— Можно, — сказал он, хрустя огурцом.

У Анания Егоровича отлегло на сердце. Он встал:

— Тогда с утречка. Прямо под гору.

— Можно, можно, — снова повторил Серафим Иванович. — А у меня к тебе тоже просьбишка. Парню-то моему черкни справку.

— Насчет справки в правление обращаться надо, — сухо сказал Ананий Егорович. — Оно решает.

— Ну, это, положим, другим сказывай. У меня тоже правление.

— Интересно ты рассуждаешь. Парню твоему справку, другому справку, а кто в колхозе работать будет?

— Я думаю, — сказал Серафим Иванович, очень четко выговаривая каждое слово, — я думаю, меня бы можно уважить. С двадцать девятого член партии — много таких в деревне? Имею право одного сына выучить? Сам знаешь, по нонешним временам ученье — основа жизни.

Стоит ли дальше разговаривать? Нет, такого, как Яковлев, словом не прошибешь. У него, видите ли, особые заслуги... Он, видите ли, старый член партии. И уже не он советской власти, а советская власть должна ему служить.

На всякий случай, берясь за дверную скобу, Ананий Егорович еще раз напомнил:

— Значит, договорились? Завтра выйдешь.

— Выйду.

«Не выйдет», — решил про себя Ананий Егорович.

Все кипело в нем. Там, в райкоме, считают: двадцать пять коммунистов в «Новой жизни». Могучее ядро. Да, на бумаге могучее. А на деле? Восемь-девять пенсионеров, семь учителей, председатель сельсовета, секретарь, лесничий, председатель сельпо с бухгалтером, председатель лесхимартели... А кто непосредственно работает в колхозном производстве? Кто живет, кормится от него? Да ведь это видимость одна, все та же показуха. Ну вынесет парторганизация решение. Правильное решение. А кто выполняет? Все тот же председатель да два-три бригадира. А остальные в стороне. У них

свои объекты. Вот и получается — они в партийной организации вроде советчиков, вроде консультантов. Нет, приедет Исаков из райцентра (его вызвали на райком с отчетом о наглядной агитации — самое подходящее время!), и он, Ананий Егорович, поставит вопрос ребром. Так дальше нельзя.

XI

ПЕТУНЯ БУЛЬДОЗЕР

Ходить ли к Петуне Девятому?

Усадьба Девятого на отшибе, за деревней, у поскотины, и, чтобы попасть туда, надо спуститься под гору, перейти ручей.

Ананий Егорович посмотрел на дорогу, разбитую, разъезженную, залитую красной глиной, прислушался к шуму ручья под горой. А может, не стоит ему шлепать по этой грязище?

Петуня, согласно колхозной документации, — нетрудоспособный. Ему этой зимой пошел шестьдесят седьмой — помнится, был такой разговор в правлении. Но, с другой стороны, кому не известно, что в деревне нет другого человека, равного ему по силе, — не зря же его прозвали Петуня Бульдозер! Прошлой осенью, например, на выгрузке баржи Петуня таскал сразу по два мешка муки (чтобы побольше заработать) — это Ананий Егорович видел собственными глазами. Видел он и то, как Петуня управлялся на пожне с меткой сена. Напарник его, молодой мужик, так и сяк вертится возле стога — весь мокрый, дышит как загнанная лошадь, а этот не поторопится: то на солнышко глянет, то к сену принюхается, то опять к копне с вилами примеряется — и с той и с другой стороны подойдет. Только вдруг заметишь: оторвалась копна от земли и полезла на стог.

Ананий Егорович тогда спросил:

— Откуда у тебя сила такая, Петр Никитич?

— Сила-то? А, надо быть, порода такая. Опять же мы, Девятые, чаю не пьем.

— А чай, что же, вредит силе?

— Размывает. С водой сила из человека уходит.

Была еще одна причуда у Девятого: раз в неделю он отдыхал. И тут хоть лопни — Петуня ни с места! Правда, в колхозе считались с этим — ведь в обычные дни Петуня ломит за четверых. А вот вскоре после войны, когда он попал на лесозаготовки, с ним обошлись круто: за невыход на работу в ударный месячник Петуню судили. Но и вернувшись из лагерей, Петуня остался верен себе.

— А не боишься, Никитич, что снова закатают? — подтрунивали над ним мужики.

— Нет, ребята, не боюсь. Рабочий класс отдыхает, и правильно делает. Производительность выше.

Вот какой был этот Петуня Бульдозер!

В позапрошлом году поздней осенью — это был первый год хозяйствования Анания Егоровича — Петуня заявился в правление колхоза и сказал:

— Так что все, товарищи. Наробился. Пусть бригадир зря сапоги не топчет. — И вслед за тем предъявил справку от районного врача:

«Гр-н Девятый П. Н. страдает хроническим суставным ревматизмом нижних конечностей. Нуждается в систематическом лечении...»

Все как полагается.

И вот сейчас, приближаясь к усадьбе Девятого, Ананий Егорович только головой покачивал: бог ты мой, что наворочал с больными ногами старик. И все это за какие-нибудь полтора года!

Дом перекрыт заново; позади дома новая баня с погребом; изгородь, которой обнесена усадьба, тоже новая, со столбовыми воротами, окрашенными коричневой краской.

Откуда у Петуни взялись достатки? Пенсии он не получает, со стороны копейка тоже не поступает: век живет без детей, вдвоем со старухой. Неужто все это за счет приусадебного участка? Да, Ананию Егоровичу приводилось слышать, что Девятый торгует на лесопунктах и выручает немалые деньги, но раньше он как-то не придавал значения этим разговорам. Мало ли что болтают в деревне. А вот сейчас, разглядывая усадьбу, он понял: люди говорили не зря.

Все у Петуни было подчинено рынку. Вместо маленькой грядки с луком, какие водятся при каждом доме, тут была целая луковая плантация. И уж лук так лук — не чета колхозному: перо синее, сочное, разметалось по грядкам точно жирная осока, а луковицы до того крепкие да ядреные — будто репа. За грядами лука парники с огурцами — овощью, тоже пользующейся большим спросом и все еще как следует не освоенной здешними колхозами, — а затем шла длинная гряда с картошкой. И всё; никакой тебе полоски с рожью или ячменем, ни лоскутка с вико-овсяной смесью, как это заведено у других колхозников.

И еще вот на что обратил внимание Ананий Егорович. У Петуни был возделан буквально каждый вершок. Заулка, как у других домов, нет. Дровник и баня вынесены за изгородь, позади дома. И даже дорожка от крыльца к воротам, надвое рассекающая гряды с луком, настолько урезана, что по ней не проехать на телеге.

«Да, — невесело подумал Ананий Егорович, — вот что начертоломил старик. Горбом. За каких-то полтора-два года. И живет — помощи не просит. А мы... Пятнадцать лет мы поднимаем колхоз...»

Он резко дернул на себя сырую, еще не просохшую от дождя калитку и в то же время услышал, как в доме заскрипели ворота. На крыльцо вышел хозяин — матерый старичище, без шапки, нагладко остриженный, в овчинном полушубке внакидку, в низких валенках.

— Не встречаю гостя. Шарниры в ногах рассохлись, — объявил он прямо с высоты.

Из открытых сеней с лаем выскочила пестрая мохнатая собачонка и бросилась под ноги поднимающемуся на крыльцо Ананию Егоровичу.

— Жулька, пропасть, — вяло прикрикнул Петуня. — Брысь.

Собачонка тотчас же смолкла, завиляла хвостом, потом принялась обнюхивать ноги Анания Егоровича.

— Так, пустое место. Для веселья держим, — сказал Петуня, снисходительно кивая на собачонку. — В избу зайдешь аль спешишь?

— Спешу.

— Ну, сам знаешь. А я сяду. — И Петуня, держась руками за косяк ворот, тяжело опустился на порог. — Нынче в сырость эту только мурашами и спасаюсь. Баба где-то опять пошла зорить муравейники.

— А лук не помогает?

— Чего? Лук? Нет, не помогает. Да я и не люблю его, лук-то. У меня и баба худо ест. Трава, — скептически добавил старик.

— А я думал, ты большой любитель до зелени. Вон ведь у тебя какие плантации!

— Не, это не для себя. Для продажи ростим, — опять с простодушной откровенностью ответил Петуня.

Ананий Егорович начал терять терпение:

— А совесть как — ничего? Не трудно на старости лет торгсвлишкой заниматься?

— Трудно. С лошадями трудно. Видишь, сколько пера-то навалило? А бригадира сколько ни проси — без бутылки не чует.

— И поишь?

— Пою. Попервости было с хвоста отоваривал, а нонече с копыта. Дороговато, — вздохнул Петуня.

— Ну, вот что, товарищ Девятый! Ты эту лавочку прикрывай скорее, а нет — мы сами прикроем.

— Не прикроете, — по-прежнему спокойно возразил Петуня.

— Прикроем. Да еще как! Что ж ты думаешь, смотреть будем, как частник под крышей колхозной орудует? Раз совести нету, найдем меры.

Петуня помолчал.

— Ты вот все на совесть напираешь... — Петуня опять помолчал, порастирал колени, согнутые под прямым углом, потом вдруг улыбнулся. — А с совестью, надо быть, так, председатель. Тут в одном колхозе старик со старухой живут. Одни, бездетные. Ну и случись со стариком авария — заболел, значит. Старуха, известно дело, в слезы: «Как жить будем? В доме ни копейки». — «Ничего, — говорит старик, — проживем. Денег у нас нету, да зато совести много. Сколько, говорит, мы с тобой этой совести-то за двадцать девять лет заробили? Пойди, говорит, нагреби мешок в амбаре да ступай в магазин...»

— Может, отложим сказку? — перебил Ананий Егорович, хотя и без прежнего запала.

— Нет уж, дослушай, — сказал Петуня. — Сказка невыдуманная... Ну, взвалила старуха мешок с совестью на спину, пошла в магазин. А через час возвращается. Плачет: «Не берут, — говорит, — нашу совесть. Деньги требуют». — «Тогда, — говорит старик, — иди в колхоз. Там совесть выдавали. Там и отоварят». И там не отоварили...

Ананию Егоровичу ничего не оставалось как молча проглотить Петунину притчу. А что он мог возразить? Что бы он сам делал на месте этого старика? И если уж говорить откровенно, то этот старик даже нравился ему. Нравился своей откровенностью и прямотой.

Петуня и по поводу завтрашнего воскресника не стал юлить.

— Нет уж, не рассчитывай, — сказал он. — Кабы коровенка была, я бы, может, еще поднатужился, а коровенки нету — кому охота жилы рвать?

Опять коровья проблема! И это в колхозе, который буквально утопает в траве. Каждый год десятки, сотни гектаров, а если подсчитать все ручьи, и тысячи уходят под снег, а добрая половина колхозников не имеет коровы. Ну не дико ли? А разгадка простая. Десять процентов на трудодень от общей массы собранного колхозом сена — вот оплата труда. А что это значит? А это значит, что колхозник, чтобы заработать на свою корову, должен поставить сена по меньшей мере на восемь-девять коров (из расчета две тонны на голову) — вещь пока совершенно немыслимая даже при наличии достаточной техники.

Понимают ли это в колхозах? Понимают. И каждый председатель так или иначе пытается обойти этот порядок. Но тут раздается грозный окрик районного прокурора или секретаря райкома: «Не сметь! Антигосударственная практика! Поощрение частного сектора...»

И вот «государственная» практика торжествует: осенью еще часть колхозников лишается своей кормилицы (какая же жизнь в деревне без коровы!), весной в колхозе наступает падеж скота от бескормицы, и с каждым годом все труднее и труднее становится посылать людей на сенокос...

Вечерело... Наконец-то ветер разогнал сырой облажник, и за деревней, по-над лесом, красной полосой разлился закат. Впервые за многие дни.

Ананий Егорович устало шагал обочиной улицы, и думы у него были невеселые. Вот он обошел почти треть деревни, побывал чуть ли не в каждом доме, уговаривал, убеждал, стыдил... А чего добился? Выйдут ли завтра люди на силос?

На деревне шла обычная для этого часа жизнь. По заулкам, мелькая белыми икрами, сновали хозяйки — кто с ведрами, кто с травой, — помыкивали изредка коровы, стучали топоры на новых строениях — долго теперь, до самой темени не смолкнет эта вечерняя перекличка топоров, а по лужкам,

до краев налитым краснинои, шлепают босоногие ребятишки — бледные, выцветшие от долгих дождей, как от немочи.

И те же запахи — как пять и тридцать лет назад: парное молоко да щекочущий банный дымок вперемешку с березовым веником...

XII
И ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС

Нет ничего хуже попасть в дом, когда там семейный ералаш, или, как принято сейчас говорить (культурный стал народ), воспитательная десятиминутка. А именно эту самую воспитательную десятиминутку застал Ананий Егорович у Вороницыных. «Пьяная рожа», «затычка винная», «дармоед» — все эти знакомые приложения и еще другие — похлестче, которыми сыпала Полина, он услыхал еще в сенях.

Ананию Егоровичу, однако, некогда было вникать в семейную драму (да в общем-то и понятно, за что калит Полина своего муженька), и он сразу начал о деле — о строительстве.

Павел Вороницын молчал. Он сидел у стола, сгорбившись, выложив на колени тяжелые коротконалые руки, в фуфайке, в грязных сапогах, и с мрачной отрешенностью смотрел в заплеванный, забросанный окурками пол. Свет лампешки, еще не разгоревшейся, поставленной на опрокинутую крынку, наискось перерезал его красное мясистое лицо

— Кой черт молчишь? Кому говорят? Стенам?

Павел медленно поднял голову, поглядел молча на жену и снова опустил.

Глаза Полины сухо, по-кошачьи сверкнули в тени у занавески.

— Завсегда вот так. Напьется, дьявол, до бесчувствия и сидит — слова не добьешься.

Ананий Егорович подсел к столу:

— Вот что, Вороницын. Кончай эту волынку. Добром прошу. Ты понимаешь, что будет с коровами, ежели твоя бригада сорвет строительство?

— С коровами? Эх, ты... — Вороницын вдруг выпрямился, сивушным перегаром дыхнул в лицо председателю. — А ежели я человеком себя не чувствую, это ты понимаешь?

— Поменьше водки жрать надо, тогда и человеком почувствуешь.

— Подожди, Полина Архиповна. Как это — себя человеком не чувствуешь?

— А так. У тебя паспорт есть?

— Ну, есть.

— А у меня нету. Я как баран колхозный, без паспорта хожу.

— Я что-то тебя не пойму, — помолчав, сказал Ананий Егорович.

— Не поймешь? — Вороницын криво усмехнулся. — Еще бы!.. А помнишь, я нынешней весной в город ездил? Помнишь? За запчастями?

— Ну, помню.

— И ты еще мне колхозную справку выписал? На, мол, получи деньги по аккредитиву. Липовая это справка! Пришел я в сберкассу, сую эту самую справку в окошечко. А там кассирша крашеная, вся с головы до ног завита. Фыркнула: «Это не документ личности». Я туда-сюда, в облисполком, с этажа на этаж, из кабинета в кабинет — два дня доказывал, что я не жулик, а человек. — Вороницын, опять дыхнув сивушным перегаром, резко придвинулся к Ананию Егоровичу. — Почему у меня нет паспорта? Не личность я значит, да?

— Ну, знаешь, Павел Иванович, не ты один. Все колхозники паспортов не имеют.

— А почему не имеют?

— Потому что паспортизация в сельской местности не проведена.

— А почему не проведена?

— Почему? Почему? Заладил как маленький. Зачем тебе паспорт?

— Ах вот как... Ясно.

Ананий Егорович уже официальным тоном разъяснил:

— Паспорт мы выдаем, товарищ Вороницын, когда человек из колхоза уезжает. А ты, надеюсь, не хочешь уезжать?

— А если захочу?

Тут на помощь Ананию Егоровичу опять пришла Полина:

— Куда ты, рожа, поедешь? Везде работать надо. Даром-то нигде ничего не дают.

— Полина, не мешай! — Лицо у Вороницына передернулось, но он сразу овладел собою. — А если захочу?

Ананий Егорович пошел напролом:

— Хорошо. Подавай заявление. Ежели правление колхоза даст справку, пожалуйста, — мотай на все четыре.

— А ежели не даст? — с пьяным упорством допытывался Вороницын.

— Да за каким лешаком тебе паспорт-то? — ввязалась Полина. — Заладил: паспорт, паспорт. Пьяным еще напьешься, потеряешь. Десять рублей штрафу платить. Разве мало теряешь?

— Полина, помолчи!

— Не плети чего не надо, тогда и помолчу. Погоди вот — язык-то прищемят длинный. Больно распустил. Нальет шары и начинает высказываться. Ребят полна изба — не высказываться надо, а робить.

Вороницын больше не «высказывался». Он только долгим взглядом посмотрел на жену и со вздохом сказал:

— Эх ты! Животноводство...

XIII

Была суббота, и дома его ждала привычная картина: спящие после бани дети и бодрствующая, сидящая у стола с лампой Лидия.

Лидия, конечно, вышивала. Вышивала очередного кота или оленя, которыми и без того были завешаны все стены.

Ананий Егорович снял плащ, переобулся в теплые валенки. Лидия — хоть бы слово, даже не посмотрела в его сторону. Что ж, она по-своему права: баня и для него топлена. И, стараясь как-то загладить свою вину, он подошел к ней сбоку и примирительно положил свою руку на ее теплое полное плечо.

Лидия все так же молча встала, собрала на стол.

Он потыкал вилкой сухую картошку, потыкал грибы — и со вздохом отодвинул тарелку.

— А, опять нос воротишь! Не нравится? А ребята-то как?

И пошла и пошла: да какой же ты председатель, когда молока в колхозе, не можешь взять? Да где это слыхано, чтобы молока в колхозе не было! По тридцать копеек за литр колхозникам платим. Да кто тебя после этого уважать будет?

И ему в который раз пришлось объяснять: да, нету молока в колхозе, нету! План не выполнен, детсад на голодном пайке держим, учителям не даем — как она этого не может понять?

Но Лидии что в лоб, что по лбу. И раз закусила удила, не остановишь.

— Так за каким же чертом ты нас-то сюда привез? — как всегда, пустила она в ход свой последний козырь. — Сколько раз я тебе говорила: Ананий, не поедем, Ананий, не пори горячку! Люди на шестом десятке думают, как до пенсии дослужить, а он — на-ка, молодец какой выискался! — колхоз подымать поехал.

— Хватит! — вдруг, сорвавшись, закричал Ананий Егорович. — Привыкла барыней жить. Жена заместителя председателя рика! Районная аристократия... Нет, ты вместе с бабами навоз поворочай...

Проснулся младший сын Петька, хмуро посмотрел на родителей с кровати.

Ананий Егорович махнул рукой — а что еще оставалось делать? — и вышел в другую комнату. Вот и поговорили с женушкой. Нечего сказать, встретила мужа, успокоила. Мало ему сегодня нервов истрепали, так нет — получай еще дополнительную порцию дома.

Не раздеваясь, в пиджаке, он лег на кровать, вытянул ноги. Ох, если бы ему сейчас немного соснуть! Хотя бы на десять минут забыться...

На другой половине все еще тяжелые шаги, грохот посуды. Потом все стихло, и в звонкой сухой тишине послышалось знакомое потрескивание иглы.

Он посмотрел на открытую дверь. Так и есть. Лидия снова сидела за пяльцами. Холодная и неприступная. С гладкой тяжелой головой, распаханной белым пробором.

Он сжал зубы. Да Лидия ли это? Неужели же это та самая Лидочка, молоденькая секретарша сельсовета, которая в огонь и в воду готова была пойти за ним?

В тридцатом году Анания Мысовского, только что демобилизованного красноармейца, направили на коллективизацию в Р-ий район. Сельсовет ему достался дальний, глухой. Пока добирались на розвальнях, он едва не закоченел — такая лютая стужа стояла в том году. Но все равно в сельсовет он влетел орлом — в длинной кавалерийской шинели, в краснозвездном шлеме.

— Ты насчет колхозов, товарищ? — встретила его в дверях черноглазая румянощекая девушка.

— Нет, насчет женитьбы, — рассмеялся Ананий (у него тогда были белые красивые зубы, и он любил смеяться).

— А кто же твоя невеста? — в свою очередь рассмеялась девушка.

— Кто? Да хоть ты. Согласна?

Девушка не отступила.

— Согласна, — сказала она и с вызовом посмотрела на него.

И ведь шутка обернулась всерьез. Через три дня они были уже мужем и женой. Вот какая была тогда Лидия.

А теперь... А теперь вот сидит перед тобой грузная, тупая баба, уткнулась носом в свои проклятые пяльцы, как лошадь в торбу с овсом, и ни черта ей не надо — хоть пожар кругом...

Он прикрыл рукой глаза. Что произошло? Как все это случилось? Годы берут свое? Эх, годы, годы... Да, в том, тридцатом, году и он умел не только с ходу жениться. Ну-ка попробуй перевернуть деревню за два дня! А они перевернули. Перевернули вдвоем. Он — двадцатитрехлетний парень, мальчишка по-теперешнему, и председатель сельсовета, малограмотный красный партизан. Перевернули. Потому что установка райкома — либо за два дня сплошную, либо партбилет на стол...

Ананий Егорович закурил. Рядом на табуретке, как всегда, стояла лампа и белела газета (Лидия все-таки считается еще с его привычками). Он зажег лампу и, по-прежнему лежа на спине, развернул газету.

«Областной чемпионат по футболу». «Отдых трудящихся под угрозой срыва».

Он перевернул страницу. Это не то, это не для нас. . А вот и наше: «Вести с передового фронта». «Первая заповедь колхозников. .»

Да, подумал Ананий Егорович, семнадцать лет как кончилась война, а в сельском хозяйстве мы все еще воюем. Каждый пуд хлеба с бою берем...

Вести с передового фронта были неутешительны. Дожди, простои машин, невыход колхозников на работу...

Он отложил газету в сторону и опять задумался. Нет, в тридцатом было легче. За два дня перевернуть деревню. За два дня!.. А может, потому и тяжело сейчас, что тогда все давалось легко? — вдруг пришло ему в голову. Ведь как они, например, с председателем сельсовета создавали колхоз?

«Почему не записываешься? Советская власть не нравится? Воду на мельницу классового врага льешь?..» Да, так они брали в работу мужиков...

Ананий Егорович резко поднялся. У него с силосом кавардак, сено гниет, а он черт знает о чем думает!

Лидия, когда он вышел в переднюю комнату и стал переобуваться, хмуро посмотрела на него, но ничего не сказала. Она привыкла к вечерним отлучкам мужа.

XIV

В правлении, конечно, никого. Августовская темень, безлюдье кругом — и только наверху, на столбах, наяривают репродукторы, подобно пулеметам простреливая деревню.

Возле магазина, на пригорке, мелькнул огонек. Наверно, продавщица или сторож. Да, хорошо бы сейчас взять маленькую, вернуться домой в теплую избу и выпить с чаем. Хорошо бы, тем более что зубы у него опять заныли.

Шлепая в темноте по лужам, Ананий Егорович направился в клуб. Если там сегодня кино, то он наверняка увидит кого-нибудь из бригадиров.

Клуб — это тоже больной зуб в колхозе. Когда-то проблема клуба решалась просто: сдернули веревками «на ура» кресты с церкви, приспособили алтарь под сцену — вот и клуб. И, надо сказать, здешний колхоз лет двадцать пять не знал заботы с клубом. А вот теперь старой церкви приходит конец — уже два раза подводили балки под потолок. Надо строить, строить новое здание. И придется, говорил себе Ананий Егорович, потому что молодежь иначе не удержишь в колхозе. Молодежи мало полновесного трудодня. Ей подай еще веселье.

В клубе шли танцы. Вокруг толстых, наскоро отесанных бревен, подпирающих высокие темные своды, как в лесу, толклась мошкара, а девушки повзрослее — школьницы старших классов, студентки-отпускницы, доярки — кружились посреди зала.

Ананий Егорович встал в полумраке у открытых дверей. Мужчин не видно. Нынешний кавалер — это в основном желторотые подростки-школьники, а если заявится случайно в деревню какой-нибудь демобилизованный солдат, то его буквально атакуют со всех сторон: невест в колхозе перепроизводство.

Кончился один танец, начался другой.

К Нюре Яковлевой, заметно выделявшейся своим ярким красным платьем с белым модным ремешком, подскочили сразу три парня, и все три солидные — студенты. Нюра кокетливо пожала плечиком — «что же мне делать с вами?» — улыбнулась одному, улыбнулась другому и руку подала высокому белоголовому — сыну учительницы.

«Ну, эта в девках не засидится, — подумал Ананий Егорович. — Пожалуй, и в самом деле придется скоро подыскивать новую доярку». Потом, оглядывая топчущийся на месте молодняк — иначе, порезвее танцевали в его время, — он увидел Эльзу, бригадира доярок. Эльза сидела одна в углу у печки — там, где обычно отсиживаются на вечерах уже не молодые, выходящие в тираж девушки. Свет настенной лампы падал на нее сверху, и что-то жалкое, унылое и обреченное было в ее сгорбленной фигуре...

Внезапно в дверях выросла Клавдия Нехорошкова. Высокая, прямая как жердь, сапоги заляпаны грязью, подол платья мокрый — надо полагать, только что из Заречья. Клавдия была под хмельком. Лицо у нее было красное как у мужика, светлые глаза лихорадочно блестели. Некоторое время, стоя неподвижно в дверях, она разглядывала танцующих, потом вдруг бухнула на весь клуб:

— Шурка! Чего эту м... развел? Русского!

Танцующие, поглядывая на нее, заулыбались.

— Шурка! Кому говорят? — Клавдия топнула ногой, шумно ширкнула.

Шурка, щупленький гармонист-семиклассник, покосился на избача Данилу, который, постукивая окольцованной деревягой, уже подходил к Клавдии:

— Ты плясать плявии, а выражаться да сморкаться — на улицу.

— Чего? Ты еще мне указывать! Пошел ты...

Ананий Егорович с силой сдавил локоть Клавдии:

— Перестань, Нехорошкова!

— А-а, председатель!.. Тебя-то мне и надо. Дашь на маленькую?

В зале захохотали.

— Тебе не маленькую, а мозги вправлять надо. Пьянствуешь, а люди?

— Люди-то? — Клавдия перестала улыбаться. — Люди сегодня все в лес удрали. Ну, они у меня попляшут. Меня? Клавку обманывать? — вдруг выкрикнула она и мрачным взглядом обвела сразу притихший зал. — Завтра всех вытащу. Вот те бог. За шиворот!

— Так, так, вытащишь, — вступила в разговор невесть откуда взявшаяся Анисья Ермолина, мать двух дочек-близнецов. — Только ты не мешай молодым-то, — стала она уговаривать Клавдию. — Смотри-ка, они, гулюшки, притихли, глаз со стыда поднять не могут. Разве можно так выражаться при девушках?

— А я сама девушка! — сказала громко, улыбаясь, Клавдия и вдруг под хохот и выкрики сграбастала в охапку толстую, неповоротливую Анисью и потащила на середку зала.

Шурка заиграл русского.

Анисья начала вырываться, кричать, потом обе они упали.

— Не лезь ко мне! — закричала поднимаясь Анисья. — Ты по себе, и я по себе. Я девья матерь! Мне кверху задницей нельзя.

Новый взрыв хохота, визг. Теперь представление не скоро кончится.

Ананий Егорович вышел. С Клавдией сейчас бесполезно говорить. Пока дурь пьяную не вытрясет, хоть кол на голове теши.

Удивительно все ж таки, подумал он, как меняется человек. Клавдию он знает давно, очень давно, еще с военных лет. Помнится, приехал он однажды на пожню — тогда уполномоченные райкома из колхозов не вылезали: время было тяжелое, наши отступали на всех фронтах. И вот бабы — сидят, митингуют на весь луг, так и эдак отводят свою душеньку. А в сторонке, в кустах, стоит высокая тоненькая девушка с опущенной головой.

— Бригадир наш, — сказали посмеиваясь женки. — Это мы ее в кусты послали. Иди, говорим, Клавка, мы хоть по-русски поговорим — все легче станет.

Да, именно так Ананий Егорович первый раз увидел Клавдию.

И еще ему вспоминается вот какой случай. В сорок седьмом году он как заместитель председателя райисполкома приехал в колхоз на отчетное собрание. Приехал с радостной вестью: райпотребсоюз выделил для колхозников тридцать пять метров ситца и пять женских платков. Доклад, конечно, сразу же в сторону, а первым вопросом — распределение мануфактуры. Люди обносились страшно — ведь за все годы войны деревне не перепало ни единого метра мануфактуры.

Ситец не без скандала поделили между вдовами и сиротами, а платки — дешевенькие белые платки с цветочками — председатель колхоза предложил отдать девчатам.

Опять стали выкрикивать имена.

— Клавдии Нехорошковой, — сказал кто-то.

— Потерпит! — раздались голоса. — Этой не к спеху. Надо сперва тем, которые молодые.

Так и не дали Клавдии платка.

Ананий Егорович вспомнил этот давнишний случай, и ему как-то сразу стала понятна вся несуразная, изломанная жизнь Клавдии. Перестарок — посторонись! А что же этому перестарку-то делать? И разве виновата та же самая Клавдия, что молодость ее пала на войну? Вот и начала она по вече-

рам свои походы в деревню делать — авось и ей перепадет какая-нибудь кроха бабьего счастья, а чтобы не так стыдно было, залей глаза вином...

Погода поворачивала на ясень. В небе сверкали крупные августовские звезды, и уже можно было различать на дороге лужи.

«Что же это я сегодня всех жалею? — вдруг разозлился на себя Ананий Егорович. — Председатель ты колхоза или заведующий богадельней? Нет, к черту! Одного пожалеешь, другого пожалеешь, а кто работать будет?»

Было еще одно место, куда по субботам заглядывали мужчины, — чайная. И он отправился в чайную.

XV

В комнате светло. И солнце. Много солнца.

Да не приснилось ли ему это? Он провел ладонью по лицу. Ладонь была мокрая от пота.

— Лидия

Ни звука в ответ.

Он вскочил с постели, в одном белье выбежал на другую половину.

Никого. На столе записка: «Пошла с ребятами в лес».

Он взглянул на стенные часы, и у него глаза буквально полезли на лоб. Двадцать минут двенадцатого! Не может быть! Он кинулся в спальню. Его ручные часы показывали двадцать пять двенадцатого.

Он схватился за голову, застонал. Вот тебе и воскресник, вот тебе и силос...

Выбежав из дома, Ананий Егорович хотел было идти задами, но тут же отбросил эту мысль. Чего уж финтить. Кто не знает теперь, что председатель отлеживался с похмелья?

Блестят залитые солнцем лужи. Собственные шаги как набат отдаются в его ушах. А деревня будто вымерла. Даже мальчонок не перебежит улицу...

Все ясно. Все укатили в лес. Вот теперь-то его песенка спета.

«Посмотрите, товарищи, на этого горе-председателя, — скажет секретарь райкома на бюро. — Партия доверила ему передовой участок, дело, которое является общенародным в данный момент. А он что сделал? Пьянство развел...»

И чем будешь оправдываться? Зубы, дескать, лечил?

Внезапно до его слуха долетел натужный вой машины. Он остановился, прислушался. Машина выла внизу, где-то у колхозной конторы.

Он выбежал на пригорок и вот что увидел: от полевых ворот с огромным возом сена ползет машина, а там, на лугу, за озериной, люди. Сплошь люди. С граблями, с вилами. Бегают, загребают сено, укладывают на телеги.

Он ни черта не понимал. Неужели все это сделал Исаков? Да, только он. Больше некому. Приехал, наверно, вчера поздно вечером из райкома и давай рвать и метать. И все это в то время как он пьянствовал в чайной...

Из кабины подъехавшей машины выскочил Васька Уледев — рожа в испарине, белозубый рот до ушей:

— Ну и дела, председатель. Осатанел народ! Меня бабешки прямо из постели выволокли. Вот что значит тридцать процентов!

— Тридцать процентов? — глухо спросил Ананий Егорович.

— Ну как же! Сами же вчера сказали.

Васька поставил ногу на подножку:

— Поеду. А то сегодня живо схлопочешь по шее. Бабье ошалело. Я говорю: подождите маленько, сено еще мокрое, пусть хоть подсохнет немного. «Вози, говорят, прод. Не твоя забота». Ну и верно, понавтыкали разных рогаток да вешал, мужики там сарай у конюшни ставят — все придумали.

— Держитесь! — уже из кабины крикнул Васька. — Исаков с каким-то начальством недавно проехал.

Так вот в чем дело. Тридцать процентов... Но как же он мог брякнуть такое? Да ведь за это голову снимут. «Развязал собственническую стихию...

Пошел на поводу у отсталых элементов...» Ананий Егорович пошел к Исакову. Надо по крайней мере предупредить, поставить в известность. Так и так, мол, осудить успеете, а сейчас давай вместе расхлебывать.

...Нет, убей бог — он не помнит этого. Все помнит. Помнит, как зашел в чайную, помнит, кто там был: бригадиры Чугаев, Обросов, Вороницын, Васька Уледев, Кирька-переводчик... Целое заседание! Помнит разговор о сталинских коровках, то есть о козах, которые после войны вытеснили в деревне коров, помнит споры и крики о сене... Все было. Но чтобы он так вот и бухнул: кончайте волынить. Тридцать процентов даю... Да что он, с ума сошел? Не посоветовавшись ни с правлением, ни с райкомом?

Ананий Егорович замедлил шаг. «А может, подстроили сукины дети? — вдруг пришло ему в голову. — Председатель пьяный. Пускай потом доказывает, что не говорил...»

И как ни нелепа была эта мысль, он сейчас готов был поверить и ей. Здешние колхозники все могут. От них всего ожидать можно. Ведь вот же сыграли они злую шутку с Мартемьяном Зыковым, его предшественником. Тот приехал в колхоз и на первом же собрании заявил: «Трепаться не люблю. Или колхоз подниму, или меня на кладбище отвезете». И что же — через год отвезли. Как-то наткнулись мужики на пьяного Мартемьяна — лежит на улице, — взвалили на тележку и отвезли на кладбище. На весь район опозорили мужика...

Мимо, громыхая, порожняком пронеслась машина. За рулем сидел Яков. Значит, и у этого машина заработала... Потом за машиной он увидел Петуню. Петуня, прихрамывая, как леший, топал посередке дороги, весь запаренный, запотевший, с граблями и вилами на плече.

— Неладно у нас, председатель, — сказал он, тяжело дыша. — Бригадир дорогу ко мне забыл.

Старик порысил было к колхозной конторе — оттуда дорога на луг, — но потом, решив, видно, сэкономить время, повернул прямо.

А на лугу... Что делается на лугу! Белые платки — ромашек столько сейчас не найдешь, — разномастные головы мужиков и парней, ребятишки, как жеребята, носятся по зеленой отаве убранной пожни... Было что-то от первых колхозных дней, когда деревня еще кипела от избытка сил.

«Да, — вздохнул Ананий Егорович. — И все это сделали тридцать процентов. Тридцать процентов. Никаких тебе заседаний, ни крику, ни рыку».

Мало-помалу он начал успокаиваться. Он шел пустынной улицей и думал: ну чего он перепугался? Чего? Ну, будут колхозники с коровой, ну, съедят лишнюю ложку масла. Ну и что? Кому это надо, чтобы сено пропадало? А оно бы пропало, обязательно пропало. Еще день-два — и хоть навоз с луга вози. И тогда все к чертовой матери: и план по мясу, и план по молоку. И урожай — тоже под снег уйдет. Полная катастрофа!

«И ты ведь знаешь, — говорил себе Ананий Егорович, — давно знаешь, что пока здешний колхозник имеет корову, до тех пор он и колхозный воз тянет. А нет коровы — и пошел брыкаться во все стороны. Да, откровенно говоря, такая ли уж это и диковинка — эти тридцать процентов? В некоторых районах еще в прошлом году давали до сорока — правда, в газетах за это не хвалили... Ну и что! Ну и тебе намылят голову. Может, даже с работы снимут. Может, застучишь на весь район. Все может быть. Но черт побери, разве ты для себя стараешься? Ну-ка, вспомни, сколько глупостей — да что глупостей! — преступлений творилось на твоем веку. Может, ты забыл перегибы тридцатого? Легко сказать, перегибы... А продразверстка после войны, когда из года в год начисто, до зернышка выгребали колхозные амбары? А то, что чуть ли не под самым Полярным кругом из года в год сеют кукурузу, а потом перепахивают под рожь? И ты все это понимал, да, да, понимал и делал, заставлял других. Так будь же мужествен! Хоть раз. Хоть один раз, на пятьдесят пятом году!»

Исаков жил за клубом, на песчаном пустыре. Дом у Исакова приметный — с высоким тополем, и Ананий Егорович еще издали увидел под топо-

лем райкомовский «газик». На этом газике — новехонькой машинке с парусиновым верхом — обычно ездил «сам», то есть первый секретарь, а остальные работники райкома пользовались старым, изрядно потрепанным драндулетом.

«Да, — подумал Ананий Егорович, — табак дело. Уж ежели сам прикатил, да еще без предупреждения, значит не зря. Значит, кто-то уже стукнул».

Солнце прямо било ему в глаза. По небритому лицу его ручьями тек пот. И он дышал тяжело, со свистом — как будто шел не знакомым, вдоль и поперек истоптанным песчаным пустырем, а пропахивал своими ногами целину.

И чем ближе он подходил к дому Исакова, тем все меньше и меньше оставалось у него мужества. Проклятый безотчетный страх, старые сомнения в своей правоте, тревога за свое будущее, за будущее семьи — все это удушьем навалилось на него.

Окна в доме раскрыты настежь. Ветерок колышет белые занавески. Гремит радио — празднично, ликующе, как положено в воскресный день (у Исакова свой приемник)...

— Ананий Егорович! Ананий Егорович!..

Мысовский оглянулся. Сзади, догоняя его, бежали Чугаев и Обросов. Бригадиры.

— Фу, черт, мы бежим, бежим. Тебя не догонишь. — Чугаев, вытирая рукавом клетчатой ковбойки лицо, заговорил с ходу: — Как будем с дальними сенами? Бабы ревут: ехать надо.

— Ждать нечего, — мрачно буркнул Обросов.

Ананий Егорович стиснул зубы. Вот они, его вчерашние дружки! Сели за стол как люди, а чем кончили? Это они, они подвели его под монастырь! И будто в подтверждение его догадки стеснительный Чугаев, наткнувшись на тяжелый взгляд председателя, воровато повел глазами в сторону. Вдруг он замахал руками:

— Смотрите, смотрите! Вон-то что! Союзники!

Все трое подняли кверху головы. Над деревней низко-низко летели журавли. Вот они пролетели деревню, закачались парами над лугом.

Там их тоже заметили. Радостные крики, взмахи белых платков, граблей. По местным приметам, журавли начинают парить к хорошей погоде — потому-то их и окрестили союзниками.

— Ну как, председатель? — заговорил снова Чугаев. Счастливая улыбка не сходила с его круглого румяного лица.

Обросов не мигая выжидающе уставился на председателя. Этот говорил больше глазами. Ананий Егорович облизал вдруг пересохшие губы, посмотрел на дом Исакова. В окнах — никого. Радио смолкло. Словно и там, за занавесками, затаив дыхание, сидят и ждут, на что он решится сейчас.

— Ладно, — сказал он медленно и твердо. — Отправляйте людей на дальние сенокосы.

Мохнатые черные брови на скуластом лице Обросова дрогнули, а Чугаев, как ему показалось, виновато заморгал голубыми глазами.

— Ступайте, — сказал Ананий Егорович.

Чугаев побежал вслед за Обросовым, но вдруг обернулся и, словно стараясь подбодрить его, закричал:

— А насчет силоса ты не беспокойся. Все будет. Теперь знаешь как люди рванут!

Ананий Егорович остался один. Лицо его было мокро, но сам он был спокоен. Да, он принял решение. Принял. И как бы там ни было, что бы его ни ожидало, но никто теперь по крайней мере не может сказать, что он сболтнул это спьяна. В заулке у Исакова залаял пес. С голубого крылечка, залитого солнцем, спускались секретарь райкома и Исаков.

Ананий Егорович выпрямился и, твердо ступая по песчаной земле, пошел им навстречу.